

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Неоконченное



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Неоконченное

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136856

Аннотация

«...В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза – на этот вопрос пошехонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните...»

Содержание

<В числе философских учений...>	4
Между делом	7
Забытые слова	19
Автобиографии	21
Дети	34
Валентин Бурмакин	40
Перхунов и Метальников	46
Братья Урванцовы	49
<Кто не едал с слезами хлеба...>	55
Легковесные	67
Признаки жизни	67
Итоги	86
Глава V[9]	86
Два фрагмента третьей редакции	106

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Неоконченное

<В числе философских учений...>

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза – на этот вопрос пошехонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему, однако ж, видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг – трах! – приехали!

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности – ни о чем подобном и в помине

нет. Даже горестей волнений и негодований не полагается – потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» – надорвется; пускай неправда ковы кует – для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нимало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, тревожат, а эта – нет. Благодаря ей можно на самые конкретные явления смотреть как на преходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности – все пройдет: и неурядицы, и недомогания, и даже прямые злодейства. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию, в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашусь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского мирозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под

личною ответственностью созидают посильную сумму блага и, раз сделавши известное приобретение, стремятся претворить его в непререкаемый факт; другие – урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» – сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: «Бог послал! бог послал!» И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: «Посмотрите, какие мы благородные! как мы сочувствуем!» Но вот потянуло откуда-то гарью – и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жметя к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, не ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: «Вот какой я благородный! знаю, что в худых делах участвовать стыдно!»

А стоять в недоумении и хлопать глазами – не стыдно!!

Между делом (Продолжение)

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унижительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унижительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит «шлющийся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, – этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо <Quos> vos ego¹ – то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну. Этот человек игнорирует литературу (он даже не без смеха говорит: я по-русски давно ничего не читаю), но, взамен того, презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Те-дески и сюртук от Жорже, то этого достаточно, чтоб он при-

¹ Я вас!

своил себе название представителя культурного слоя. Он – человек культуры, а литература – это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент»... Не сказка ли это?

Если б Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать, – и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурой. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita,² а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следо-

² неведомая земля.

вать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, потоплику-посколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многообразны и несходны были понятия о предстоящем деле – все-таки дело, а не безделье представляет литературный *point de mire*.³ Вот тот нож вострый, который так не по нутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»: даже такое дело, как дело «Домашней беседы» – и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если б литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы – она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом», – и вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия!

И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради их она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет Езоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель на-

³ цель.

столько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные «герои» безделицы далеко не одиноки в этом случае; что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские – все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буффонство, или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво – это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд» и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления, а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут

не что иное, как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, и вся литература – сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство и накопление умственных ценностей или же истребление таковых? И дотоле пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буффонством.

Но ученые – ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое?

И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с

которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

– Вы в этом уверены? – спросил я его.

– Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

– И слаще было вино из этой урны?

– Слаще-с, – сухо ответил он мне и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастиков».

– Понимаете, я дальше головастиков не иду, – говорил он мне, – из головастиков образуются лягушки, но это уже не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

– Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках!

– На всю-с, – ответил он мне и, шаркнув <?>, сухо раскланялся <?>.

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе суще-

ствовавали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цыфиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризового ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротничков. Он был рассеян и ходил, словно в лесу; не кстати спрашивал, не кстати отвечал; внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель реторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов: *quis, quid, quomodo, quando*⁴ и т. д., – то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, – то это поразило его еще более. Кажалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна исти-

⁴ кто, что, каким образом, когда.

на вдвигается в другую, другая в третью и т. д., откуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут, перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом, – вдруг переменял клавишу, и на место старой вставил новую: «Плеть, перед судом правды и справедливости», причем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы я потерял из вида Полосатова: он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я

полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть» – он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении» – он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», – прибавит директор – «и преданности», – повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида ту фризую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмехался над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал, как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто, потому что

ведь и в самом деле... Это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатова, показалось оно какою-то Шехеразадою. Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственной целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Иванычу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса

приготавливаются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи, из кож – обувь, из рогов и костей – клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то, вместо того чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:

– Послушай, Полосатое, ты, кажется, ученый?

– Да, душа моя, – ответил он мне скромно, – то есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! – прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.

– Я стою на практической почве, – продолжал он, – я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи – их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? – для про-фанов!

Последние слова он почти выкричал и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось

очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал:

– Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто рублей!

– Да, мне и самому иногда казалось... – пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

– Да? так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по средам: у меня собираются ученые... А покуда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.

Забутые слова

Мне чудилось (не то во сне, не то наяву), что невидимая, но властная рука обвила меня и неудержимо увлекает в зияющую пустоту. Я сознаю себя беспомощным и даже не пытаюсь сопротивляться загадочной силе, словно нечто роковое ждет меня впереди. И чем глубже я погружаюсь в необъятную даль, тем унылее становятся перспективы, тем быстрее свет сменяется сумерками, тем решительнее потухает вселенская жизнь под игом всеобщего омертвения.

Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усыпана. Сердце мучительно надрывается под гнетом загадочной, неизмеримой тоски.

Удручают серые тоны, но еще более удручает безмолвие. Ни звука, ни шороха, ничего, кроме печати погибели. И чем больше я углубляюсь в это оголтелое царство, тем более всем существом овладевает оторопь и сознание отупелой безнадежности, в которой все кругом застыло и онемело. Ощущение оскудения постепенно заползает во все существо, и я начинаю чувствовать, что недалек тот момент, когда и внутри меня все омертвевает.

Но вот я и у цели: передо мною кладбище. Точно взволно-

ванное море, раскинулось оно на необозримое пространство вдаль и вширь, усеянное бесчисленными могильными насыпями. Заброшенность и одичалость везде наложили здесь печать свою. Храм, когда-то осенявший мертвецов, стоит полуразрушенный, с раскрытым куполом, давая приют нетопырям и ночным птицам. Колокол, некогда призывавший живых и оплакивавший мертвых, лежит разбитый у подножия храма; надмогильные памятники, ограды – все повалилось и лежит разбросанное, заросшее мхом и бурьяном.

Кажется, сам ветхий Адам сложил здесь свои кости. За ним последовали поколения за поколениями и наслались одно над другим, пока наконец земная утроба не насытилась мертвецами.

Автобиографии

I

ЗАПИСКА 1858 г.

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 г. Тверской губ<ернии>, Калязинского уезда, в имении отца своего, селе Спасском. Образование получил в Императ<орском> Царкосельском (впоследствии Александровском) Лицее, где и кончил курс в 1844 г. (XIII курса). Но прежде того, с 1836 по 1838 г. воспитывался в Московском Дворянском институте (прежде бывший Университетский пансион), откуда и переведен в Лицей за отличие в науках. Начал писать еще в Лицее, где за страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям. В то время Лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта.

Первое напечатанное стихотворение было: «Лира» («Библиотека» для чтения» 1840 г.); потом несколько стихотворений было напечатано в «Современнике» 1843 и 1844 годов. Прозаические сочинения были печатаемы в «Отечественных записках» 1847 и 1848 г., где в это же время, а равно и в «Современнике», было напечатано несколько рецензий Салтыкова. С 1848 по 1856 – в литературной деятельности перерыв. Служил с 1844 по 1848 г. в Канцелярии Военного министерства; с 1848 по 1856 – в Вятской губернии в качестве чиновника особых поручений при губернаторе и советника Губернского управления; с 1856 г. чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. Критические статьи о «Губернских очерках» были помещены: в «Современнике» и в «Отечественных записках»; больше не знаю. В 1857 г. вышло два издания «Губернских очерков»; первое разошлось в течение одного месяца. Для характеристики взгляда писателя можно указать на следующие очерки: «Скука», «Неумелые» (конец), «Озорники» и «Дорога».

М. Салтыков

II

ЗАПИСКА 1874 г.

Михаил Евграфов Салтыков родился 15 января 1826 года, воспитывался в Императорском Царском-Сельском Лицее, откуда вышел в 1844 году. Начал службу в Канцелярии военного министра, продолжал в Вятском Губернском правлении с апреля 1848 года, возвратился в Петербург в январе 1856 г. Первая повесть в «Отечественных записках» 1847 г., № 11 – «Противоречия».

Умер () .

III

ЗАПИСКА 1878 г.

М. Е. Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте Салтыков начал семи лет, а именно в день своего рождения – 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной

человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, заставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году, вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра его Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по институту, Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: священник села Заозерья, Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакаций. Вообще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее в августе 1836 года, то есть десяти лет, Салтыков был настолько подготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время, Московский Дворянский институт (только что преобразованный из университетского пансиона), в третий класс, где и пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству.

Через два года, в 1838 году, Салтыков был переведен в Императорский Царскосельский лицей, в силу привилегии, которою пользовался Московский Дворянский институт отправлять каждые полтора года двоих отличнейших учеников в Лицей, где они и поступали на казенное содержание (в числе отправленных таким образом был и нынешний министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой). В Лицее Салтыков, уже в 1-м классе, почувствовал решительное вле-

чение к литературе, что и выразилось усиленную стихотворною деятельностью. За это, а равным образом за чтение книг, он терпел всевозможные преследования как со стороны губернаторов, так и, в особенности, со стороны учителя русского языка Гроздова. Он вынужден был прятать свои стихи (большею частью любовного содержания) в рукав куртки и даже в сапоги, но их и там находили. Это повлияло на ежемесячные отметки «из поведения», и Салтыков в течение всего времени пребывания в Лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: «грубости», расстегнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку), курение табаку и прочие школьные преступления.

Начиная с 2-го класса в Лицее дозволялось воспитанникам выписывать на свой счет журналы. Выписывались только что возникшие в то время «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» (Сенковского), «Сын отечества» (Полевого), «Маяк» (Бурачка) и «Revue Etrangère». Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоми-

вание о Пушкине обязывало; в каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина; в XI-м – Влад<имир> Раф<аилович> Зотов, который, так сказать, походя сочинял стихи и помещал их в «Маяке», где Бурачек не в шутку провозгласил его вторым Пушкиным; в XII-м – Н. П. Семенов (ныне сенатор), в XIII-м – Салтыков, в XIV-м – В. П. Гаевский и т. д. Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отеч<ественных> записок», и в них критики Белинского и повести Панаева, Кудрявцева <и Герцена> и друг. Первые стихи Салтыков напечатал в «Библиотеке для чтения», помнится, в 1840 году. Потом, до 1843 года, не печатал, а в 1843 и 1844 году поместил довольно много стихотворений в «Современнике» Плетнева. В 1844 году Салтыков вышел из Лицея, тогда переименованного уже в Александровский, с чином X класса, то есть не в числе отличных.

С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков ни одного стиха не написал.

В том же 1844 году Салтыков поступил на службу в Канцелярию военного министерства, когда министром был кн. Чернышев. В ноябре 1847 года была напечатана в «Отеч<ественных> запи<сках> первая прозаическая вещь Салтыкова «Противоречия»; затем в марте 1848 года – рассказ «Запутанное дело». Обе эти вещи возбудили внимание существовавшего тогда негласного Комитета, который, так сказать, ревизовал литературу по случаю Февральской революции. О Салтыкове было сообщено кн. Чернышеву, и по до-

кладу последнего состоялось Высочайшее повеление, в силу которого Салтыков был выслан, в сопровождении жандарма, на службу в гор. Вятку, в распоряжение тамошнего губернатора. Здесь Салтыков прожил до ноября 1855 года, служа сначала в штате Губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и, наконец, советником Губернского правления. После того был переведен на службу в Петербург и служил до июля 1868 года.

Литературная деятельность Салтыкова возобновилась в 1856 году, когда началось в «Русском вестнике» печатание «Губернских очерков». Но, начиная с 1860 года, он почти исключительно печатал свои сочинения сначала в «Современнике» и потом в «Отечественных записках».

Сочинения Салтыкова изданы им в разное время в 12 томах, а именно:

- «Губернские очерки» – 2 тома,
- «Сатиры в прозе» – 1 том,
- «Невинные рассказы» – 1 том,
- «История одного города» – 1 том,
- «Признаки времени» и «Письма из провинции» – 1 том,
- «Господа ташкентцы» – 1 том,
- «Дневник провинциала в Петербурге» – 1 том,
- «Помпадуры и помпадурши» – 1 том,
- «Благонамеренные речи» – 2 тома,
- «В среде умеренности» – 1 том.

IV

ЗАПИСКА 1887 г. <? >

15-го января 1826 года у коллежского советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых родился сын Михаил. Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: «Сей младенец будет разгонщик женский».

V

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО С. А. ВЕНГЕРОВУ 1887 г.

28 апреля <1887 г. Петербург>

Милостивый Государь

Семен Афанасьевич.

На предложенные вопросы имею честь ответить:

1) Имя и отчество: Михаил Евграфович.

2) Родился 15 января 1826 года.

3) В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.

4) Родители: коллежский советник Евграф Васильевич Салтыков и Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забелина.

5) Вероисповедания православного. Русский.

6) Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался. В Калязинском уезде с незапамятных времен существует имение (село Спас-Угол с деревнями), которое и поныне находится во владении детей моего старшего брата.

7) Воспитание до 10 лет я получил домашнее. Грамоте меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет. Потом учил меня священник соседнего села Зайцева (между прочим, и главнейше по-латыни) и старшая сестра. Десяти лет я поступил в Московский Дворянский институт в 3-й класс (институт был шестиклассный), затем, 12 лет, в 1838 году переведен в числе привилегированных в Императорский Царскосельский Лицей, откуда и выпущен в 1844 г. X классом. Лицей уже был в Петербурге и переименован в Александровский. Уже с первых классов любил читать, а начиная с 1839 года пристрастился совсем. Преимущественно влияли на меня «Отечественные записки» и Белинский.

8) Начала моей деятельности не припомню. Кажется, в 1842 году было напечатано в «Библиотеке для чтения»

мое первое стихотворение «Лира», очень глупое. Затем я печатал, будучи на скамье лицейской, стихи в «Современнике» Плетнева. По выходе из Лицея я не написал ни одного стиха и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютина в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.). Первую повесть «Недоразумение» под псевдонимом Непанов я напечатал в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1847 г. Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души.

9) По выходе из Лицея я находился на обязательной службе в Военном министерстве (Канцелярия министра); в 1848 году, в апреле, по поводу повести «Запутанное дело» («Отечественные записки» 1848 г., март) выслан в г. Вятку на службу. Там был сначала писцом Губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и наконец советником. В 1855 г. в ноябре освобожден из Вятки и служил по 1862 год в Министерстве внутренних дел сначала чиновником особых поручений при министре, потом в Рязани и Твери вице-губернатором. В 1862 г. вышел в отставку и в течение 1863–1864 годов был соредактором в «Современнике» вместе с гг. Антоновичем и Пыпиным. В конце 1864 г. опять поступил на службу и был управляющим Казенной палатой в Пензе, Туле и Рязани. С 1868 года был редактором «Отечественных записок» по 1883 год.

10) Все написанное мною напечатано в отдельных изданиях, кроме «Мелочей жизни», которые выйдут осенью. Сверх того, я и еще много писал, но совершенно забыл и не считаю нужным возобновлять в памяти читателей.

11) Перечня отзывов и рецензий составить не могу.

12) На иностранные языки были переведены «Губ<ернские> оч<ерки>» (нем<ецкий> и англ<ийский>), «Помпадуры», некоторые сказки и «За рубежом» (по-франц<узски>). Более не знаю.

13) Биографических сведений обо мне указать не могу.

М. Салтыков

VI

Я родился 15 января 1826 г. Тверской губернии, Калязинском уезде, в селе Спас-Угол. Десяти лет поступил в Московский Дворянский институт, а оттуда в 1838 году был переведен в Царскосельский Лицей. Там я начал писать стихи, за которые был часто наказываем; там же начал и печатать их. Сколько помнится, первое мое напечатанное стихотворение «Лира» было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 или 42-го года; затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. После выхода из Лицея (в 1844 г.) стихов больше не писал. Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 года, когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запу-

танное дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губернскими очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти.
21 сентября 1887 г.

М. Салтыков

VII

«ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 1888 или 1889 г.

Фрагмент

Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силою, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу.

Не могу также пройти молчанием и непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь

прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие.

Наконец, закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон а сделался главным фактором моей жизни...

Дети

Сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Я, впрочем, не стану пускаться по этому поводу в отвлеченности. Не скажу, например, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что разрешение его неразрывно связано с благополучием или злосчастьем страны. Что последняя может или преисполниться мраком, или озариться светом, смотря по тому, с какими задатками явятся на арену деятельности молодые, непрестанно нарождающиеся из недр человечества отпрыски, в которых [история научила нас] мы с школьной скамьи научились провидеть устроителей грядущих [человеческих] исторических судеб.

Я [хорошо] знаю, что [подобные] ссылки на будущее, как и всякие другого рода обобщения, считаются в наше [оголтелое] время пустопорожними фразами и не внушают [к себе] никакого доверия. И потому говорю без околичностей: не ради будущих исторических судеб сжимается мое сердце при виде детей, а ради них самих.

Я долго верил в живоносную силу отвлечений и обобщений и глубоко [и горячо] был убежден, что только с помощью их человеческая жизнь может получить прочные и правильные устои. Формулированию этой мысли была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. Не погрязайте исключительно в подробностях

настоящего, говорил и писал я, [но] воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без [согревающего] оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте [же] окаменеть и человеческим сердцам, вглядывайтесь часто и пристально в [те] светящиеся точки, которые [хранят] таят в себе [идеалы] перспективы будущего. Эти [идеалы] точки только недалезорким умам [представляются] кажутся беспочвенными и оторванными от жизни; в сущности, они представляют собой результат всего лучшего и человеческого, что [накопило] скопилось в прошлом и вырабатывается в настоящем. Это то же самое прошлое, то же самое настоящее, [но] только отрешенное от злых и темных сторон, на которые указывает просветленная человеческая мысль.

Уветы мои были голосом, вопиющим в пустыне. Странное что-то творится в человеческом обществе. Иногда мне [казалось] кажется, что оно вступает на стезю верований, и сердце мое [оживлялось] оживляется. Но увы! Это [было] лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменяется [сменялось] самою суровою и [бессодержательною] обнаженною действительностью. Злоба дня всецело [овладевала] овладевает умами; общество [погружалось] погружается в безрассветную и бессодержательную суматоху; верования и убеждения [исчезали] исчезают бесследно, [мрак одолевал] мрак сгущается и как бы бессрочно одолевает робкие лучи света, которые на минуту [согрели] озарили жизнь. И

чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что общество еще долго не будет [тем пламенем] относиться к своим грядущим судьбам с тою страстностью, с той жадной провиденья, которые одни могут спасти его.

Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство безопасно и не смущается тревогой о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское; слезы – тоже детские; тревоги – мимолетные, которые даже сформулировать с полной ясностью невозможно. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои [настоящие] насущные радости, и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает и отравляет миллионы существований. Их жизнь течет, свободная и спокойная., в одних и тех же рамках, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что это рамки, наполненные радостью. Все действия детей свидетельствуют о том невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают чуть заметные горести, встречающиеся на их пути. Нужно только следить, чтоб развитие детей шло правильно; нужно оградить их от материальных опасностей и тех зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить в будущем. Следует только устроить это настолько искусно, чтоб они не почувствовали, что над ними тяготеет какая-то ферула, – в этом состоит главная и существенная задача разумной

педагогике. Последняя сумеет довести до надлежащей мягкости эти восковые сердца и дать им то именно направление, которое обеспечит за ними счастье целой жизни.

Я сам долгое время держался этих ходячих взглядов на детство. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, без думы всем существом отдаваться наслаждению настоящей минутой – можно ли представить себе более завидный удел? О дети, дети! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой – они любят; прикинут сюда тетенок, дяденок, сестриц, братцев, даже всех православных христиан – они и их помянут в молитвах своих. Потом: можно резвиться, но не шуметь, за обедом следует сидеть прямо, не вмешиваясь в разговоры старших и тем более не перебивать их. Всякий родитель, даже самый заурядный, может внедрить эти элементарные правила жизни в восприимчивое детское сердце, и всякое детское сердце благодарно, без малейших усилий понесется навстречу этим правилам. А затем вступит в свои права и заправская педагогика. Она предложит правила несколько более сложные, но тоже немудреные. Нужно почитать старших, избегать сообщества неблаговоспитанных детей, вести себя скромно, резвиться, но не увлекаться и т. д. И эти правила усвоятся без труда и не нарушат равновесия детской души...

Истинная отравка жизни приходит только вместе с сомнениями. Как? Почему? За что? – вот вопросы, которые делают человека тревожным и несчастливым. Благодаря им он полу-

чает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; сердце его перестает быть вместилищем ликований и преисполняется унынием. Человек начинает сравнивать, анализировать не только собственные действия, но и поступки посторонних людей. Горе глубокое, неизбывное западает в его душу, за горем следует ропот, а отсюда один шаг до озлобления. Ничего подобного не испытывают незлобивые, ликующие детские души. И верования, и сомнения равно чужды им, а следовательно, чуждо и настоящее жгучее горе. Недаром умные педагоги прилагают все усилия, чтобы продлить период детского возраста. Они знают, что только в продолжение его человек наслаждается беспримесным счастьем. Счастливые, счастливые дети!

Но чем больше углублялся я в детский вопрос, чем больше старался уяснить себе сущность его, тем больше и больше раскрывалась передо мной фальшь ходячих мнений по этому предмету. Прежде всего внимание мое невольно остановил вопрос: если злосчастье в таком изобилии разлито на земле и так цепко хватается за все живущее, то почему же одним детям предоставлена привилегия составлять в этом смысле исключение? И чем пристальнее вглядывался я в окружающую среду, тем более убеждался, что не все дети резвятся (и, главное, не все одинаково резвятся), не все беспечны, что существует целая масса детей забытых, приниженных и оброшенных с самых пеленок. Одним словом, для меня стало ясно, что злосчастье в той или иной форме оди-

наково доступно и зрелому и детскому возрастам человеческого существования.

Скажу более: при помощи ряда логических выводов мысль не остановилась на идее равенства всех перед злосчастьем, но пошла дальше. И как ни парадоксален покажется результат моих размышлений, но я не сомневаясь могу утверждать, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия злосчастнее того, который достался на долю детей.

В основе этого вывода лежат те же признаки, на которых зиждется и общепризнанное мнение об обязательности детского счастья. Что преобладающим характером детства является резвость – с этим, конечно, нельзя в принципе не согласиться (хотя, как я уже упомянул, и в этом случае встречается масса исключений), но ведь резвость вовсе не говорит ни в пользу детского счастья, ни против него и просто составляет потребность движения, свойственную молодому и ненадломленному организму. Насколько странно представить себе резвящимся угрюмого и придавленного жизнью старика, настолько же странно, почти противоестественно и противоположное предположение. Живость движений есть явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущее и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета привилегированных свойств, делающих завидным детский удел.

Валентин Бурмакин

Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная личность. Он принадлежал к числу тех беззаветных идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые почувствовалось, что доброе и человеческое не до конца изгибло, что образ человеческий, даже искаженный, все-таки не перестает быть человеческим образом. Разумеется, движение это сосредоточивалось исключительно в литературе да в стенах университетов; разумеется, оно высказывалось случайно, урывками, но случайность эта пробивалась в таком всеоружии страстности и убежденности, что неизбежно должна была оставить по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение было признано неудобным, потребовались немалые усилия, чтоб потушить его. Да и эти усилия имели сомнительный успех, потому что не дальше как через десять – двенадцать лет светоч опять вспыхнул и на этот раз [так решительно, что] осветил совсем новые перспективы.

Это происходило в самом начале сороковых годов. Бурмакин был ученик Грановского и великий почитатель Белинского. Не будучи учеными в прямом смысле этого слова, оба проповедовали живое слово, оба будили общественную совесть, оба в высшей мере обладали даром жечь глаголом

сердца. Для того времени именно такая проповедь и была нужна. На зов ее откликнулись Тургенев, Некрасов, Достоевский, Кавелин, Кудрявцев и много других, менее ярких, но столь же искренних литературных деятелей. При звуках ее трепетала безвестная масса молодых людей и сеяла горячее слово добра, истины, любви. Сеяла на свой риск и страх, выделяя из среды своей бодрых людей, которых не останавливала ни подозрительность, встречавшая их проповеднический подвиг, ни пучина безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть.

Валентин Осипыч еще в университете примкнул к этому кружку страстных и убежденных людей и искренно привязался к нему. Он много читал и изредка даже писал, хотя выдающимся талантом не обладал. Это был отличнейший второстепенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и члены кружка, которые глубоко ценили его честные убеждения. В нашем захолустье ему нечего было делать, но бессознательная привычка и воспоминания детских лет неудержимо влекли его в родные места. Быть может, к этому примешались еще толки о народе и народности, которые тогда были в полном ходу, а может быть, его на первых же порах заинтересовала крепостная практика, под игмом которой задыхался народ и которая со всех сторон обступила его самого.

Героем он, конечно, не мог назвать себя. Будучи ярким противником крепостного права, он не отказывался от поль-

зования им. Правда, что он старался как-нибудь притулиться к сторонке, ни в какие распоряжения не входил, судьбища не производил и т. д. Но это немало не устраняло двоегласия, которое, так сказать, перерезывало его жизнь на две половины. Одна была отдана Ариману, другая – Ормузду. Только чтение книжек помогало забыть об этом двоегласии, да еще сознание, что не он один, а все так живут, и Грановский, и Тургенев, и Кавелин – все помещики, все слуги одного и того же крепостного права.

Единоличные жертвы нележки. Даже отъявленные враги известного порядка вещей, вполне искренно проповедующие отмену привилегий, с ним сопряженных, требуют этой отмены для всех, а не исключительно для той или другой отдельной личности. С установившимися порядками связан весь жизненный обиход, с его привычками, с известной степенью довольства, с возможностью пользоваться досугом и проч. Кто тот герой, который откажется от всех этих благ, возьмет в руки посох и пойдет в поте лица снискивать хлеб свой? Ежели и между людьми высокодаровитыми таких героев днем с огнем поискать, то человеку среднему, богатому не талантами, а только стремлением и сочувствием, и бог недостаток героизма простит.

Двоегласие приводило за собой недостаток устойчивости. Бурмакин увлекался, но увлечения его требовали руководства. При том же, не имея под собой реальной почвы, они были устремлены исключительно к отвлеченностям. Ис-

тина, красота, добро – вот цели, к которым тяготели лучшие люди того времени, и за отсутствием жизненных интересов искали осуществления их в искусстве. Жизнь представляла собой низменность, искусство – святыню, то есть совсем наоборот тому, что требовала настоятельнейшая злоба дня. Так называемая «польза» тоже была отодвинута в разряд низменности. Музыка, литература, театр – вот что стояло на первом плане и служило предметом страстных споров. Всем памяты споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине, Сосницком, каждый жест которых порождал целую массу горячих комментариев. Этого мало: даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Герино раздавались во всех кофейных, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические носители какого-то глубокого слова, заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть.

Одним из любимейших выражений того времени было «святая простота». В нем заключалось нечто непререкаемое, и при произнесении его оставалось только преклониться. Но употребляли его без разбора и потому нередко смешивали с глупостью, грубостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. А ежели при этом вспомнить, что рядом с этими второстепенными формулами существовала еще одна, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует, то представлялось возможным дойти до та-

ких оправданий и примирений, откуда недалеко и до совершенной путаницы понятий.

[Я охотно допускаю, что в то горячее и страстное время самые оправдания не носили изменнического характера, но ведь и самое лучшее время чревато будущим, а будущее, подготовленное всякого рода сделками, поклонениями, уже готовило исподтишка предателей.]

Крестьянство задыхалось под игом рабства – зато оно было *sancta simplicitas*; чиновничество погрязло в взяточничестве, но и это было своего рода *sancta simplicitas*; невежество, мрак, распушенность нравов, жестокость господствовали всюду, но они представляли собою не ответственное что-либо, а одну из форм *sancta simplicitas*. Положим, что ради этих разнообразных форм простоты тяжело было жить, но поводов для привлечения к ответственности не существовало. [Сложилась формула: существующее разумно уже по тому одному, что оно существует, но забывалась другая формула: все идет к лучшему в наилучшем из миров. Пользовались излюбленной формулой искренно, не подозревая, что в ней кроются семена измены.] Даже толки о народе и народности, о которых я упомянул выше, носили трансцендентальный характер. Накроили формул, из которых одни относились к народу горячо и сочувственно, а другие были просто-напросто гнусны, – и спорили. В диалектике, в умении поставить вопрос заключалось все дело, а так как всякий заранее считал его решенным в свою пользу, то и в печати

особенно явственных результатов не оказывалось.

Непреклонные идеалисты довольствовались тем, что у них бывали сладкие минуты в жизни. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев наполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтоб хоть шепотом кто-нибудь произнес *sursum corda*, – и не дождется, а тогда, по крайней мере, хоть в этом напоминании недостатка не было. Могла ли удовлетвориться жизнь одним этим голословным напоминанием – это иной вопрос, но для отдельных личностей оно представляло питание вполне достаточное и исчерпывало всю жизнедеятельность.

Итак, Бурмакин заперся в родном гнезде и нимало не роптал на свое одиночество. Он много читал, вел деятельную переписку с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые положил переезжать на житье в Москву. Хотел было перевести крестьян с барщины на оброк, но при первом отпоре со стороны старого Власа, доказывавшего невыгодность этого предприятия, не выстоял и махнул на все рукой.

Перхунов и Метальников

Первый был либерал, второй – консерватор. Разумеется, применительно к понятиям того времени. Кличек этих, впрочем, [еще] не существовало, потому что время было [уж очень] простое. Об общественном мнении и в помине не было, а тем менее о какой-либо сословной или партийной розни. Тем не менее, хотя все вообще жили попросту, как бог велит, тяготея к одному и тому же центру тяжести и питаясь соками одной и той же почвы крепостничества. Но там и сям в общей массе все-таки выделялись, с одной стороны, такие личности, которые шумаркали, фордыбачили и зубоскалили, а с другой – такие, которые, упершись лбом в стену, «делали свое дело». Первых собратья не одобряли и отчасти побаивались, а власть имущие – от времени до времени грозили им указательным перстом и делали внушения. [Их-то я и называю либералами.] Вторых и собратья и начальство считали людьми солидными.

И простое было время, да и темное. Не только в захолустьях ничто ниоткуда не проникало, да и повыше зги было не видать. Правительственным распоряжениям было присвоено наименование канцелярской тайны, и сведения об них появлялись в газетах в виде известий о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколен; самое правительство называлось начальством. Предполагалось, что у всех своего де-

ла по горло и что вне этого, так сказать, профессионального дела никаких других жизненных интересов не существует. Был, впрочем, один интерес – это периодически возобновлявшиеся ожидания рекрутских наборов. Всякую осень вопрос этот волновал и помещичью и крестьянскую среду, в особенности в те годы, когда на небе появлялась комета или иное знамение в этом роде. Будет ли манифест и по сколько с тысячи? – тревожно спрашивали себя обыватели, но до самой минуты распубликования манифеста все-таки ничего угадать не могли.

Естественно, что ежели при таких условиях и возможна была «критика», то она суждена была замыкаться в самом ограниченном кругу. Не правительственные действия служили предметом ее, а частные распоряжения местных чиновников, которые зависели от выборов и, стало быть, поневоле вынуждены бывали выслушивать всякого рода злословие. Собственно говоря, это и было именно только злословие, шутовство, подчас назойливое и почти всегда далеко не умное. Тем не менее даже такого рода «критике» люди основательные и солидные (по-нынешнему «консерваторы») не могли дать отпора, потому что они и сами не чувствовали под собой реальной почвы, а жили [и действовали], «как все прочие живут». Следовательно, и у них не было ничего такого, что напоминало бы о личной инициативе и внушало бы потребность отстаивать и оберегать. Словом сказать, ни критиканы, ни солидные люди не могли достоверным об-

разом объяснить, почему такие-то действия представляются основательными и целесообразными, а такие-то – легкомысленными и вредными. И почему вся эта разношерстная масса канцелярского многописания, которая загромождала тогдашние присутственные места, носила наименование рапортов, предписаний, отношений и проч., а не представлялась случайной пробой пера, какую она была на деле.

И Перхунов (Григорий Александрыч) и Метальников (Тарас Егорыч) принадлежали к числу небогатых помещиков. У первого считалось в Слобущенском около сотни душ; усадьба второго, приблизительно таких же размеров, отстояла верстах в шести от перхуновской, но владелец редко наезжал в нее, так как, по должности исправника, почти постоянно жил в городе.

Братья Урванцовы

Старик Захар Антоныч Урванцов не принадлежал к числу аборигенов нашего захолустья. Он приехал откуда-то издалека, женился на одной из небогатых помещиц Прасковье Федоровне Улыбиной, кроткими мерами перевел на свое имя ее имение и затем, проводив жену на погост, барином зажил в собственной усадьбе, сельце Вялицине.

Это был человек озорной в полном смысле этого слова. В старину, по захолустьям, такие типы встречались довольно часто. И умственные и общественные интересы отсутствовали; домашний обиход сам собою сложился в таких рамках, что почти не требовал личного вмешательства; бесконечная праздность плыла и охватывала со всех сторон, не допуская внедриться даже самым тощим зачаткам внутреннего содержания, которое могло бы осмыслить жизнь. При таких условиях для природы мало-мальски подвижной оставалось одно убежище: растрачивать душевные силы по мелочам, на всякого рода низменные затеи, которыми так тороваты невежество и умственная неразвитость.

Проказливость старого Урванцова была до того назойлива, что даже наше неприхотливое захолустье невлюбило его. Одинокó прозябал он в своей берлоге, почти не принимая участия в общем раздолье, которому предавались по зимам соседи. Отчуждение это, впрочем, не особенно огорчало бы

его — он и дома находил достаточно пищи для озорства, если б недостаточность матерьяльных средств не напоминала, что общение с людьми составляет одно из тех неизбежных жизненных условий, ввиду которых должна смириться самая беззаветная озорливость. Прежде всего, как ни мало требователен был Урванцов, но и у него, как у прочих, сложились известные прихоти и привычки, на удовлетворение которых требовались деньги, а крохотное имение (всего с небольшим пятьдесят душ), безалаберно управляемое, давало их мало. Хорошее подспорье в этом смысле могла бы доставить служба по выборам, но его никуда не выбирали, хотя он каждое трехлетие ездил в губернский город и аккуратно ставил свою кандидатуру на должность исправника.

Приходилось растрачивать душевные силы дома, в безответной среде дворовых и крестьян, которая на то и была создана, чтобы молча выносить всякое издевательство. Но ему и это показалось мало: он перенес свои издевки и на собственную кровную семью. Двоих близнецов-мальчиков, которых оставила ему жена (она умерла родами), он назвал Захарами, потом, когда они пришли в возраст, определил их юнкерами в один и тот же полк и, наконец, умирая, оставил завещание, которым разделил господский дом с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому жилые. Еще оригинальнее поделил он принадлежавшие ему двадцать три крестьянских двора. Один двор назначил одному брату, другой, рядом с пер-

вым, – другому и т. д. И в довершение всего о двадцать третьем дворе совсем ничего не упомянул.

Натурально, что сыновья ненавидели отца, а по смерти его, опутанные устроенной им кутерьмою, перенесли эту ненависть и друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами и были на одно лицо; оба вышли в отставку в поручичьем чине и носили один и тот же мундир, оба не могли определить границ своих владений, обоих на каждом шагу смешивали и соседи и домочадцы и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазнительной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем крестьянском дворе...

И в довершение всего, как это часто бывает между близнецами, оба и в физическом и в духовном смысле представляли как бы один организм, то есть одновременно испытывали одни и те же ощущения и вообще жили и действовали под влиянием одних и тех же потребностей и побуждений.

Поедет, например, в город один Захар Захарыч – смотрит, ан на половине дороги его обгоняет другой Захар Захарыч, который туда же спешит. Или соберется один брат рыбу в озере ловить, не успеет невод расстелить, как уж и другой брат к тому же берегу с своим неводом катит.

Положение было безвыходное, почти трагическое. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из соседей относился к нему серьезно. Никто не называл Урванцова-отца злодеем, доведшим собственных детей до иступления, напротив, все очень добродушно рассказывали смешные анекдоты, матерьялом

для которых служила бесконечная семейная свара, в смешливый час устроенная старым «проказником».

Анекдоты этого рода нередко рассказывались и в нашем доме, особенно когда наезжали соседи.

– Намеднись, сказывают, такая ли перестрелка в Вялицине была, что только любя с два! – сообщал приезжий гость. – Вышли оба брата в березовую рощу грибов посбирать. Один с одного конца взялся, другой – с другого; идут наклонившись навстречу друг другу и не замечают. Как вдруг оба выпрямились... Смотрят друг дружке в глаза – он ли, не он ли? – никто не хочет первый дорогу дать. Ну и пошло, и пошло у них тут...

– Нет, вы вот об чем подумайте – каково положение крестьян! – перебивал другой гость. – Намеднись один брат взял да всех крестьян у другого перепорол, а те, дурачье, думают, что их свой барин сечет. А на другой день другой брат у первого крестьян пересек...

– Вот так маскарад!

Или:

– Как встанут с утра, только об том и думают, какую бы пакость родному брату сделать. Услышит один Захар, что брат по хозяйству распоряжение сделал, и только что мужички за работу возьмутся – он придет и отменит. А в это же время другой Захар такую же штуку под брата подводит.

– Один Захар не велит своим мужикам перед братом шапку снимать, и другой Захар тоже... А мужики знай себе сн-

мают, отличить своего барина от чужого не могут. Ну, разумеется, потасовка... Так теперь до того дошло, что мужики-то, как завидят по дороге Захара Захарыча – свой ли, чужой ли, – во все лопатки прочь бегут!

Или, наконец:

– И какую еще потеху старый шут удрал! Взял да в заповещании написал: такой-то крестьянский двор сыну моему Захару Урванцову-первому, такой-то – сыну моему Захару Урванцову-второму. А который из них первый, который второй, они и сами не знают. В ту пору сам судья приезжал их делить: «Уладьтесь же, господа, как-нибудь! – говорит. – Ну вы, Захар Захарыч, будьте Урванцовым-первым, а вы, Захар Захарыч, – Урванцовым-вторым. И что же? Не прошло пяти минут, не успел судья отвернуться, а он и сам не знает, которого из них он назвал первым, которого – вторым.

– Ах, черт подери! Однако ж в полку как-нибудь с ними да ладили?

– Так и ладили, что по разным эскадронам определили да в разных концах по уезду расквартировали. Ну да в полку-то строго! Не очень-то озорничать дадут!

И так далее.

Подобно отцу, оба брата жили в Вялицине одиноко, ни с кем не видясь. Явившись по смерти отца на хозяйство, они, по обычаю, объездили соседей, но – факт небывалый в нашем захолустье – последние даже визитов не отдали им. Благодаря этой оброшенности жизнь братьев-врагов исчерпыва-

лась личными встречами да тяжёбными делами, которые они по всякому поводу вели друг против друга в судах.

Одним словом, это была не жизнь, а в полном смысле мариолог. Тут все чудовищно: как самая возможность существования подобной семьи, так и отношение к ней культурного общества того времени. И ежели, в качестве достоверного бытописателя Пошехонской старины, я вынужден занести эти факты в свою летопись, то от дальнейшей разработки их отказываюсь. Сознаюсь откровенно, что такого рода труд был бы слишком для меня мучителен. А кроме того, он представлял бы собой лишенный всякой общечеловеческой почвы ряд примеров умственной и нравственной одичалости, настолько чудовищных в своих подробностях, что в современном читателе они ничего, кроме мучительного чувства, не могли бы пробудить...

В заключение могу прибавить одно: даже при условиях одичалости, выносливость человеческой природы не бесконечно растяжима. Братья не выдержали; прожив в нашем захолустье не больше трех лет, они одновременно из него исчезли, оставив и отческий дом, и имение на произвол случайности.

<Кто не едал с слезами хлеба...>

*Кто не едал с слезами хлеба,
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упадал,
Тот
и т. д.*

Так гласит Гёте в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные; нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие.

Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой ат-

мосферы, которую они дышат.⁵ В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования, – в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страдает (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности своего положения), ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему, что рождается на свет уже заранее заклеянное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их.

Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ – последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!»,

⁵ Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животненные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишленною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепые шараханья из стороны в сторону? Как снизить до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особенно если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват

ли кто в таком положении вещей и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной склонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.

И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и при-мешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное – предположим, хоть историю...

Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы, – до нас никому никакого дела нет. В этой зависимо-

сти от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обсе-дит нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняе-мый тою общечеловеческою основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предме-те толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифиrowались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и нера-зумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всяко-

го разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому, что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недостижимой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастью его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.

Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения кото-

рых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть, и наше собственное.

Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные), и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати – двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особенно когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.

Положение человека, как бы фаталистически осужденно-

го не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще «не пропасть как собаке», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга, – вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.

И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это, право, сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели...

Представляю я себе человека, которому как следует разь-

ясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы – вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого <человека>, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но, увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений!). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.

А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранил сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.

– Куда, я теперь денусь! куда я денусь-то! – бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.

Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно, не получала и земли (которую, впрочем, и обработать не имела средств); мир, с своей стороны, на вдовьи слезы смотрел тупо.

– Да, добышник был, царство небесное! – сказал дядя Митяй.

– К хрестьянскому делу радельщик был! – добавил дядя Митяй.

И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготавливаясь назавтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой – медленная голодная смерть.

Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении.

Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно и что следует смириться перед ним. Она не может даже заплакать вдоволь над собою, она не может заплакать над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми!

– Что ты теперь будешь делать? – спросил я эту самую бабу.

– А что делать! стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! – отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и поглядят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением – это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.

Все эти Митяи – народ вовсе не злой и даже не испорченный; они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастье

совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку, с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгodu. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?

Повторяю: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее взглянется в толпу, и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:

Кто не едал с слезами хлеба

и т. д.

Легковесные

Признаки жизни Периодические заметки

Каких-нибудь три-четыре года времени – и как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головой! Сколько, напротив того, выползло на свет таких, которые и не надеялись когда-нибудь покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!

Незрелость мысли, пошлость и животненность стремлений, отсутствие идеалов, ложные страхи, коварство, подозрительность, – какая горькая, сжимающая сердце картина! И во главе всего «Belle Hélène» и всеобщий иступленный канкан...

Я знаю, что многие даже сомневаются, может ли время с подобными признаками считаться достоянием истории, что многие думают, что это не более как исторический провал, на дне которого копошатся велегласные русские публицисты. Я знаю, вместе с тем, что подробный анализ современных общественных интересов в значительной степени оправдывает такой безотрадный взгляд на переживаемое нами время, [что это как будто совсем и не «время» в историче-

ском значении этого слова, а, скорее, «мрак времен»]...⁶ Я знаю все это и за всем тем верю и утверждаю, что многое в этом мрачном воззрении или преувеличено, или основано на недоразумении.

Современная эпоха имеет не только триумфаторов, но и побежденных; шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стнящих и вопиющих, и таким образом общий гимн торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие. Если бы современный триумфатор прилепился всеми инстинктами своего существа исключительно к «Belle Hélène» – я согласен, это было бы зрелище вполне безнадежное. Но этого нет. Современный триумфатор – бельеленист по преимуществу; он легкомыслен, легковесен и любострастен до бесконечности; но вместе с тем он боится. Он боится, чтоб у него не отняли то мясо, на которое он так плотоядно заглядывается; он боится, чтоб, сверх ожидания, не опустился занавес между ним и тою растленною наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения. Поэтому он озирается и ищет кругом тех ужасных людей, которые, злоумышляя против «Belle Hélène», тем самым посягают на его единственную духовную пищу. Сверх того, как ни привлекательно наслаждение нагим мясом, оно слишком олимпийски однообразно, чтобы удовлетворить вполне человека даже самого легковесного. И вот в триумфаторе сама собой рождается потребность кой-

⁶ В рукописи зачеркнуто.

кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он с мрачною подозрительностью взглядывается в своих ближних и, как разъяренный самец гориллы, рвет зубами все, в чем видится помеха для его плотоядности.

Как ни ужасен этот признак, но в то же время он заключает в себе семя надежды. Если есть необходимость озираться, [преследовать и подозревать], – стало быть, не все еще предано непробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не дает ему окончательно обрюзгнуть и умереть.

Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Если мысль цепенеет при виде крашенных гробов, громко величающих себя столпами мира, то та же самая мысль сумеет даже сквозь сплошную массу живых могил провидеть иные сферы, иные интересы, иную температуру, иную жизнь. История не останавливается от того, что ничтожество делается на время как бы законом и обеспечением человеческого существования; она знает, что это явление эфемерное, что и под ним и даже рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.

Легковесные люди – герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать; а ежели он весит менее золотника, то это такой блаженный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может.

Пользуясь репутацией общественного столпа, такой человек беспрепятственно проникает во все танцклассы, имеет безграничный кредит в кондитерских и ресторанах и обольстительным своим видом зажигает неугасимый огонь в сердцах дам. Физика торжествует; легкие тела поднимаются вверх, тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии, во всех профессиях; они цепляются друг за друга и образуют такую густую цепь, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий. Еще очень недавно вы видели этих бесконечно-малых, еще недавно вы думали, что это не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя внимание, что от них нужно было отмахиваться. Теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собою солнечный свет. Их жужжание не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И, что всего страшнее, за этими золотниками уже виднеются в перспективе десятки и сотые доли золотников, которые тоже не заставят себя ждать и своим бесконечнейшим ничтожеством победят даже бесконечное ничтожество золотников.

Кажется, трудно было вообразить что-нибудь ничтожнее какого-нибудь Феденьки Козелкова. Болтливый глупец, назойливый нахал, пустопорожний носитель либеральной галиматьи, он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтобы сделаться львом своего времени, – и что же? Он оказал-

ся слишком тяжеловесен, слишком глубокомыслен, слишком дальновиден и прозорлив; он подавлял золотников основательностью и вескостью своих суждений – и вот бесконечно-малые скучились, составили комплот и свергнули-таки Феденьку с его пьедестала!

Я встретил его на днях на улице; по-прежнему в нем совершался процесс болтания, по-прежнему он смотрел фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и приниженным.

– Ты видишь? – сказал он мне, указывая на рой бесконечно-малых, суевившихся тут же у наших ног, – но подожди, то ли еще будет! Эти неизмеримомалые – великаны в сравнении с теми, которые придут на их место!

Затем Феденька заговорил об умеренном либерализме, о своих подвигах на поприще постепенного преуспевания, о том, сколько ему нужно было осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы дать надлежащее направление молодым всходам общественной самодеятельности и проч.

Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время в первый раз в жизни удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эти речи с зловредным жужжанием золотников и вздыхал... почти плакал. Если б у меня под руками был лавровый венок, то, клянусь, я непременно надел бы его на чело этого пустопорожного мудреца!

Все проходит, все изменяется. Были идеи – они сменились словами; были слова – они сменились бессвязным любострастным стенанием. Теперь мы жалеем о словах, мы жалеем об этих скудно наделенных внутренним содержанием речах, в которых все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо если они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них были, по крайней мере, обрывки идей. Хватаясь за эти обрывки, можно было добиться исходного пункта, можно было даже временно установить бродячую мысль оратора. Это одно уже было драгоценно, потому что давало возможность предъявлять требования, восстанавливать колеблющую нить суждения, и мало-помалу, с помощью ангельского терпения приводить оратора к заключениям более или менее человеческим.

Увы! эти драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который доходит до наших ушей, не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных с ней отношениях. Единственное внутреннее содержание этого гула, единственная, если можно так выразиться, мысль его – это непримиримая злоба, это доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нет ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, противна золотнику, уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не во-

ждеделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые делаются равны перед безграничною злобою похотливой легковесности; все они подлежат [преследованию и казни] гонению, потому что они убеждения.

«Легковесный» может чувствовать голод, сгорать от любострастных желаний, может ощущать физическую боль, но мыслить не может. Он изгнал мысль из домашнего своего употребления и на этом изгнании основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется, как он ловко по временам скользит, по временам перескакивает через препятствия, как он подставляет ножки другим, подобно ему, бесконечно-малым, как он стремится, цепляется, изгибается... Не думайте, однако же, чтобы мозговое его вещество было насколько ни-будь причастно этому кропотливому движению и чтобы вся эта суэта выражала что-нибудь, кроме самого простого физического упражнения; взгляните вперед, и вы убедитесь, что где-нибудь вдали мотается кусок мяса, по поводу которого целым пожаром вспыхнуло вождеделение в этом легковесном ничтожестве и к которому вдруг устремились все инстинкты его бесконечно-малого существа. Не подходите к нему в это время: он жирует, а потому зол и может укусить.

Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе; не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже охотно курил в печку, хотя никогда не попадался. Я давно потерял его из вида и вдруг узрел во всеоружии. Оказалось, что он имеет прочное

общественное положение, что он испытал в жизни et cetera,⁷ что камелии от него без ума и что, наконец, в будущем его ожидает блестящая перспектива.

– Какие же твои цели? – спросил я его.

– А ближайшая моя цель – съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане), – сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.

– А потом?

Он несколько изумился моему любопытству, однако ж отвечал:

– А потом – выпить стакан хорошего лафита!

– Да... но не вся же жизнь тут. Вероятно, есть цели, есть убеждения...

В этот раз он взглянул на меня уже не с изумлением, а с строгостью.

– Убеждения, любезный друг, – сказал он мне, – могут иметь люди беспокойные или недовольные. Мы люди покойные и довольные; мы не страдаем так называемыми убеждениями; мы стремимся и достигаем.

Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул буфетчику и вышел, не доеввши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что же наконец заключается опасного или гнусного в слове «убеждение» и как поступить, если эта гнусность ни под каким видом не хочет вытравиться из сердца? – но он был уже далеко. Я ви-

⁷ и то и се.

дел только, как сверкала на солнце его круглая гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные ноги.

Я уверен, что в настоящее время он питает ко мне злобу непримиримую и что представься случай, он позабудет все связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.

Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф (из немцев), которого специальность состояла в том, что он ни на одном языке не умел выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него в голове нет «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его – тоже чуть ли не сплошь изукрашен бриллиантами общественного доверия...

– Ну что, как «мизль»? – спрашиваю я его, по старой привычке.

– Мой «мизль» – нет «мизль»! – ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не утерпел и бросился его целовать.

Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, неразумные его товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал потребность мысли; стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете, – и вдруг, какой переворот! «Моя мысль – нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых

гнуслостей должен был пройти этот простодушный субъект, чтоб прийти к такому отчаянному афоризму.

Бесстыдство как замена руководящей мысли, сноровка и ловкость как замена убеждения и успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений – вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора. «Прочь мысль! прочь убеждения!» – на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который случайно или по неведению врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми *idées de l'autre monde*! Его заязвят, зажужжат, засосут, и ежели не покончат навсегда, то, наверное, на долгое время оставят в теле отвратительный зуд!

«Легковесный» встречается всюду, во всех профессиях, во всех кружках так называемого общества. Вы узнаете его по нахальному его взгляду, по искусственной развязности его поступи, по плотоядному выражению улыбки и, наконец, по растленной беззастенчивости его речей. Жаргон этой *jeunesse dorée*, этого особого, до сих пор достаточно не исследованного вида человека, не просто ничтожен, но положительно посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад неслыханных и нескладных слов, не соединенных между собой никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, но поползновения похоти.

«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость, неспособен, несмотря на то что за все берется, невежествен,

несмотря на то что никогда не краснеет. Прикосновение его к какому бы то ни было делу действует тлетворно и разрушительно. Несмотря на это, он успевает именно потому, что нагл и угодлив в одно и то же время, и своею открытой враждой к мысли и убеждению зарекомендовывает себя как человека на все готового. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх и вверх. «Ты взялся за такое-то дело, – говорите вы ему, – но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как за него взялся!» Но он даже не удостоит вас ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с обычным своим простодушным бесстыдством, как будто говорит: «чудак! разве нужно понимать дело, чтобы взяться за него!»

Увы! он прав, потому что успех оправдывает его превыше всех ожиданий, он прав, потому что какое же может быть дело в этом вихре канкана, к которому обращены все стремления общества.

Итак, «легковесный» беззастенчив, невежествен, неспособен, самонадеян... и сверх того чувствен как жаба! Это последнее качество будет со временем подводным камнем, о который вдребезги разобьется утлый челн «легковесного». С одной стороны, удовлетворение чувственности стоит дорого, с другой стороны, количество легких способов добывать деньги с каждым днем сокращается. Лоретки, камелии

и кокотки спасут когда-нибудь общество от «легковесных», и вот почему я смотрю на них не только без ненависти, но даже с некоторым умилением. Мне все кажется, что каждая из них вот-вот проглотила одного из «легковесных», и хотя имя им легион, но я знаю, что и прожорливость кокотки ни с чем не сравненна, а потому надеюсь и жду.

Сознавая свое внутреннее бессилие, «легковесный» оккупывается. Не сознавать такого очевидного факта он не может; ни для кого не тайна, что «легковесный» есть не что иное, как продукт временного затмения общественного смысла; что он всплыл наверх благодаря роковому сцеплению дурного свойства случайностей; что он нигде не встретит к себе ни сочувствия, ни уважения, потому что и за ним и перед ним – пустота и прах; что рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) он пропадет сам собой, без шума и треска, не оставив на месте ничего, кроме ничтожной комариной погадки. Но пламень животолубия горит в нем так сильно, что даже при полном сознании недолговечности он бодрится и строит кругом себя укрепления.

Признаюсь откровенно, я не верю в наши укрепления. Инженеры, что ли, наши несообразительны, но всегда как-то так выходит, что или укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются карточные домики. Оттого, когда нам приходится палить, то мы или палим по своим, или убеждаемся, что без

пороху палить невозможно. Было время (и довольно продолжительное), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы мечтали даже, что вот-вот окопаемся и от себя, и от целого мира. И что ж? – в ту самую минуту, когда мы с гордостью помышляли, что дело окапыванья наконец совершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке, – вдруг оказалось, что инженеры по всей линии сплеховали и что в бутылку, бог весть откуда, налезло множество совсем ненужных элементов! Я живо помню отчаянье моего учителя географии при этом известии. Он до того понадеялся на родных инженеров, что даже в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно закупоренная» – и вдруг пришлось вновь обратиться к общепринятой терминологии и вновь переименовывать Россию из «бутылки» в «государство»! Я помню много и других отчаяний и изумлений, разразившихся по этому поводу, и с тех пор мною овладело сомнение. Я сомневаюсь не только в прочности, но даже в необходимости укреплений.

Вот, думаю я, уничтожены шлахтаумы – и сердце России не дрогнуло; упразднено крепостное право – и помещики сугубо возвеселились; сдан в архив откуп – и кабаки приумножились; наложена печать молчания на уездные и земские суды – и злодеи не только не торжествуют, но наипаче трепещут; найдена излишнею предупредительная цензура – и Хан с Богушевичем не дремлют! А ведь какие, казалось, тверды-

ни и какого переполюха надлежало опасаться по поводу их падения! И ничего! не только ничего, но даже как будто этих твердынь совсем и не бывало! Это до такой степени поразительно, что можно идти далее и утверждать, пожалуй, что если признается нужным упразднить даже казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и эту невзгоду Россия выдержит с благоразумием, достойным всякой похвалы.

Когда я соображаю все это, то недоверие к укреплениям и окопам, воздвигаемым легковесными, усугубляется в душе моей еще более. Мне начинает даже казаться, что это вовсе и не окопы, а так, дрянные песочные стенки, кой-как слепленные собственными слюнями золотников.

Повторяю: я очень хорошо понимаю опасения «легковесных». Представлять собою одно ничтожество – и втайне сознавать это; не обретать в себе ни единой струны, которая служила бы связью с миром живых, – и в то же время сгорать жаждой навязать себя этому миру во что бы ни стало; ежеминутно волноваться вопросом: отчего же меня не бьют? и неужто я, во всех отношениях гадина омерзительная, до сих пор жив? – и в то же время ощущать, как стонет утроба от приливов животолубия... воля ваша, едва ли найдется положение мучительнее этого! Напуганное воображение невольно вступает в свои права, овладевает всеми способностями, человека и начинает рисовать картины самого мрачного свойства.

Мир населяется грубиянами и беспокойными; тысячи ловушек, тысячи засад представляются умственному <взору>; куда ни обернись – везде посягательство, везде брешь, сквозь которую вот-вот ворвется неведомая какая-то сила и беспощадно выметет из жизни все непотребное и позорное... И чем спокойней поверхность окружающей трясины, чем меньше вскакивает на ней пузырей, чем тяжеле и глубже царствующее окрест безмолвие, тем подозрительнее озирается «легковесный», тем сомнительнее представляется ему будущее. Тут самое безмолвие принимает угрожающий характер, самые могилы как будто провещевают. «Нет! Это неспроста! не может быть, чтоб меня не били! Это интрига! это недостойный комплот!» – умозаключает «легковесный» и, гонимый страхами, начинает разгораться, разгораться... и злоумышлять.

«Вы меня презираете – хорошо! Я мирюсь с вашим презрением! В сущности, я не претендую ни на сочувствие, ни на уважение; я требую одного: чтоб меня трепетали!» Так вещает легковесный и, вслед за словом, начинает плести бесконечную сеть коварства и лжи, в чайные опутать ею те остальные проблески истины и добра, которые светом своим оскорбляют, его взоры.

Я не нахожу нужным доказывать здесь, до какой степени страхи «легковесных» преждевременны и преувеличенны. Всматриваясь внимательно, я не вижу ни одного симптома, ни одного зловещего признака. Напротив того, все обстоит

благополучно. Жизнь, конечно, делает свое дело, не останавливаясь, но никому до сих пор не приходило на мысль укорить ее в таких произвольных движениях, которые оправдывали бы торжество «легковесных» с их темной свитой угроз, предательства и коварства. Увы! в ней с большим основанием можно отыскать недостаток цепкости и бедность инициативы, нежели поползновение к забиячеству, ее скорее можно укорить в несокрушимом стремлении к застою, нежели в искании бурь. Смирно стоит она, в ожидании, не упадет ли с неба благодать, и ежели таковая упадает, то не бросается на нее с легкомысленностью ребенка, но с осмотрительностью мужа, сейчас оторванного от сна, рассматривает эту благодать и, насытивши взоры, вновь отправляется досыпать прерванный сон.

Против такого скромного течения жизни бесполезны всякого рода твердыни. Воздвигайте укрепления, устраивайте окопы – жизнь не тронется ими, ибо не заметит их. А ежели вдобавок вы начнете еще палить, то положительно перебьете только своих единомышленников. Те единицы, против которых собственно и направляются стрелы, ускользают легче, нежели можно предполагать. Они слишком разбросаны, слишком стоят особняком, чтобы направляемые в них удары были всегда метки и верны. Да притом, и влияние их вовсе не так заметно, чтобы можно было оправдать им необходимость пальбы. Желая достать их, вы истребляете множество неповинных, которые, не понимая причин тревоги, изумлен-

ными взорами вопрошают: за что ты дерешься?

Стало быть, первое доказательство бесполезности окопов заключается в том, что они не имеют цели и не вызываются необходимостью. Второе доказательство серьезнее. Жизнь самая скромная может наконец заметить, что против нее умышляется нечто недоброе, и заметить это тем скорее, чем чаще ей напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. С той минуты вопрос: за что ты дерешься? – мгновенно утрачивает всякий личный характер; он переходит из уст в уста, начинает интересоваться умы обывателей и, постепенно овладевая их помыслами, становится в укор всем насущным потребностям дня. Обыватель делается самонадеян и даже отчасти нахален; хотя он не протестует против оплеух, но хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких – нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь благодати...

Увы! опыт доказывает, что в этих случаях твердыни сугубо несостоятельны. Во-первых, как ни усердствуйте, а всех перепалить ни под каким видом не разрешается; во-вторых, не следует терять из вида, что в обстоятельствах этого рода всегда играет немаловажную роль измена. Она незаметно пробирается в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца палителей. Поднимается свара и рознь в самом святилище; возникает мысль о предательстве; оказываются дезертиры; костюм ренегата становится *très élégant et*

très porté.⁸ И вот в одно прекрасное утро твердыни накрываются паутиною!

Да; вопрос: за что ты дерешься? – есть один из тех жизненных вопросов, к которым следует подходить с осмотрительностью. Будь я на месте «легковесных», я не только избегал бы случаев, могущих возбудить его, но даже если бы, паче чаянья, он упал ко мне с неба, то постарался бы ласково и вежливым обращением так обворожить его, что он сам устыдился бы своей нескромности и поспешил бы лопнуть вместе с прочими пузырями, от времени до времени появляющимися на поверхности трясины.

Достигнуть этого вовсе не трудно. Чтобы сделать свое торжество прочным, «легковесным» следует только быть скромными. У них есть «Belle Hélène», есть танцклассы, есть канкан – чего еще нужно? Они могут наслаждаться этими благами на всей своей воле, – и конечно, никто не посягнет на их наслаждения, никто не заметит их. Нет спора, что они распространяют кругом предосудительную атмосферу глупости и бездельничества, но ведь и это дело поправимое: стоит только почаще курить. Одним слов<ом>, все шло бы отлично, если б не замешались тут ложные страхи и пагубная самонадеянность. «Легковесные», не довольствуясь скромной долей, для которой они предназначены самой природой, хотят буйствовать, хотят уязвлять, хотят возбуждать вопросы. Злополучные! они не понимают, что есть случаи, когда по-

⁸ очень элегантным и модным.

пасться на глаза уже значит пропасть, исчезнуть, погибнуть.

Итоги

Глава V⁹

Первая редакция

К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно принадлежит слово «анархия».

Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что вы делаете? Разве вы не видите, что там, на дне, таится анархия!» Углубляется ли человек в самого себя – говорят, что он делает это неспроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самые скромные требования к жизни, – его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собою другие требования, а затем и анархию. Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными – анархией сугубою.

Был момент, когда чуть ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии, когда только идиот да отъ-

⁹ См. первые четыре №№ «Отеч. зап.» 1871. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

явленный жулик могли считать себя свободными от клички вроде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было – это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мыместили), и характер ее был тем жестче, что накануне она сама считала свое дело проигранным и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне – ликование и скрежет зубов; назавтра – тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! с воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Накануне прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали: вперед! Под рукою они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего, – говорили они, – что молодые люди увлекаются; наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших!» И действительно, вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени и как придется, быть может, вспоминать лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтоб разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и т. д.

В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с та-

кими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и едиными устами вопили: анархия! Из провинциальных берлог приезжали дикого вида люди, чтоб крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И так как каждый прогрессист есть не что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручнее, нежели запускать зуб в мякоть более или менее неизвестную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство все-таки, извернулось и, смело сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: анархия! Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой – лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

А между тем, стоит лишь пристальнее вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами слову «анархия», и всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не

подлежащих спору.

В самом деле, что такое «анархия» в глазах уличной толпы? Анархия – это возбужденное состояние умов; анархия – это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия – это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец – это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия – это все то, что обуславливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку, независимо от предания, уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе, – все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории понимает тот или другой учебник, изданный для ру-

ководства в семинариях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу истина, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу толпе. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящей средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. Но толпе эти истины дороги, потому что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек, не вполне разлученный с совестью, понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведомо прибегать к обману, и потому останавливается перед таким предприятием. Напротив того, человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение – смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится

их интерес, ни того, куда собственно клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И – странное дело! несмотря на то что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления даже горшего, нежели то, которое питает их руководителей.

Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных бесчинствах, сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя погибшею, поруганною и посрамленною. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его вздыханий – и вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза; бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое в самом деле этот «авторитет», об охране которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение;

с исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о незыблемости авторитетов есть понятие по малой мере спорное. Он незыблем, покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни; но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани – ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присвоивает себе все то, что может «приказать» и против чего «ничего не поделаешь» – кто же, однако, назовет подобный авторитет незыблемым? Можно ли назвать незыблемыми и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений, как, например: авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и т. д.

Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самою историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую

форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете, в смысле принципа, идет здесь речь, а об авторитете «имярек». Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только перемещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихий заменяется авторитетом физической силы, авторитет физической силы – авторитетом силы нравственной и духовной; авторитет бессознательного подчинения природе – авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли «авторитет», как принцип, от подобных перемещений?

Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопчут сторонники «авторитета», приобретается лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно-обязательным. Но очевидно, что эта нравственно обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвоается название анархиче-

ских. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения, и не произвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтоб удержать мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода начала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй, но, в сущности, эта поддержка будет мнимая и человек, который решится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего, кроме тления и праха.

Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то, как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не вправе видеть в нем ни «анархии», ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого немислим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь, и он

увидит ее усеянную множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа, благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьмы тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда наконец избранные люди не доказывали, что спасения следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно, как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед: анархия! Глупцов пугали страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» – этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин, его породивших. Ломать – это ломать, и ничего больше, вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искони был наполнен людьми, которые пугались страшных слов.

А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое ветхо, негодное негодно, – те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломало языческий мир и утвердилось на его развалине – ужели тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право – ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства – все это анархия, анархия, анархия? Нет, конечно, никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обобщайте! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые, в сущности, столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которая стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастье, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически predetermined положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к луч-

шему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищу, что оно нимало даже не смущает нас, но это свидетельствует только о нашем притуплении и нимало не обязательно для людей, более чутких к восприятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедою есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастья, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме.

Не справедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? – вот вопрос, которого разрешение несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в попраниях, глумлениях, ломках и разрушениях.

Если б возможно было предположить, что общество – не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь в отдаленном будущем – получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», – сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенно-

го, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это все-таки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека, представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий, человек, с своей стороны, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? кто может сказать, какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост и что станет с нашей планетой, когда он кончится? погибнет ли она или будет свидетельницей общего блаженства? – обо всем этом можно только гадать, но утвердительных ответов на эти вопросы

дать нельзя.

«Но мир открытий есть мир науки – никто и не мешает последней иметь с ними дело». Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однако ж эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни, как и в природе, нет ничего стоящего особняком, а ежели мы и видим попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственной обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения от уз, которые приносит с собой наука. Он пользуется сравнительно большим довольством, нежели столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели, благодаря его неразвитости, новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же наконец минута, когда старые мехи разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассирийцами, вавилонянами, римлянами, греками и т. д.

Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с большим правом можно предположить, что прогресс изменит характер (как он изменяет его и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную), но что он будет продолжать свое действие – это, кажется, не должно подлежать сомнению. Тем менее права на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявлений этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка, но есть следствие условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества.

Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять, до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько людей, до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории! сколько людей, одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами! сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы человеческого существа! Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно по-

крыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории.

Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступает целостью форм, завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом, она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом значит идти наперекор основных ее законов, значит быть нарушителем естественного ее хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.

Да; истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели, при помощи горькой случайности, одерживают в обществе верх, тогда, действительно, наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история.

Замечательно, что никогда так называемые анархисты, то есть сторонники прогресса, не действовали с такою ужа-

сающею жестокостью, с какою всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны. И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто – в чем же заключается его сущность? в том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастьем? в том ли, что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие его колебания? в том ли, наконец, что, не овладев еще счастьем, оно увидит мерцание его животворящего луча?

Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение;

оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение – это прекращение жизненного процесса, и ничего больше.

Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум.

Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы; поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности они нашли себе удовлетворение. Они все-таки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении.

Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто-напросто гниет под игом бессознательности, или же бредет как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения; это общество, у которого нет другого девиза, кроме одного: «не твое дело».

Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невоз-

можно серьезно уверить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь, но это время принесло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но, отвергая девиз в его наготе, мы тем не менее отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегородок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половины: заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, то есть всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает; в заповедной половине прячется все то, что действительно развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «не твое дело» нимало не утратил своего господствующего значения, мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим: анархия!

А анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами, он находится под игом непрерывающегося оболъщения, живет не действительною здоровою жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов – отовсюду выглядывают жалкие обрывки, стоящие особня-

ком, не соединенные между собой никакой связующей идеей.

Два фрагмента третьей редакции

1

Недавно один известный адвокат дал очень удачную характеристику тех уличных воззрений, которые до сих пор считаются у нас высшим критериемом для оценки человеческой деятельности. «У каждого из нас, – сказал он, – была такая пора, когда он смотрел титаном, готовым весь мир обнять, пересоздать и превратить в рай; потом пора эта проходит, титан возвращается к обыденным занятиям и становится добродушным филистером». Определение это очень верно, не в том, конечно, смысле, что оно разделяет человеческую деятельность на две неизбежные половины: одну – титаническую, другую – филистерскую, и делает последнюю как бы венцом всей жизни (если б это было так, если б титанство было только ступенью к филистерству, то на это явление самый преисполненный страхом человек не стал бы смотреть серьезно: пускай, мол, молодые люди потитанствуют, все равно все там будут!), а в том отношении, что чрезвычайно метко выражает те взгляды, которые на толкучем рынке пользуются безграничным кредитом. Момент, когда человек сознает себя титаном, когда он мечтает «превратить мир в рай» – это момент, когда общество вправе ожидать от

него всевозможных бесчинств; напротив того, момент, когда человек, познав тщету общих идей и общих интересов, становится филистером – это момент, когда общество с уверенностью может возложить на него свои упования. Свежее, сильное, самоотверженное – это погибель; гнилое, дряблое, лукавесебялюбивое – это оплот. Здесь вся сущность уличной доктрины и базис для дальнейших оценок <и> определений. Если вы будете сообразоваться с этой доктриной – вы будете почтены; если вы не хотите сообразоваться, то вольны сделать и это. Но помните, что «не сообразоваться» можно только под личную за сие ответственностью. Не горячитесь, титанствуйте понемножку, и притом так, чтобы можно было заранее хоть приблизительно определить момент вашего превращения в филистера. Попробуйте потитанствовать не в меру, и вы увидите, что вам даже не дадут возможности своевременно увенчать свою жизнь превращением в добродушного филистера.

2

Так бы оно, конечно, и было, если б ловкие люди и тут не сумели отыскать для себя лазейку. Все дело, как мы сказали, в том, чтоб человек массы понял, где находится его интерес, чтоб он не механически только пользовался освобождением от уз, а осознал как значение этого освобождения, так и источник, из которого оно к нему пришло. Что момент этого

сознания, тот момент, когда человек получит возможность критически относиться к насущной действительности и отсюда делать посылки к будущему, рано или поздно наступит для него, – это не подлежит никакому сомнению; но нельзя не сознаться, что путь, который в этом случае ему предстоит совершить, есть путь в высшей степени трудный и загроможденный всякого рода преткновениями. Дело в том, что общие задачи человечества встречаются здесь с задачами ловких людей, имеющими характер совершенно противоположный. Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними, но сверх того они знают и то, что пока этот момент не наступил, они все-таки остаются полными властелинами той безапелляционной исторической силы, которая одних призывает к действию, других устраняет от нее. И вот с пособием этой силы навстречу человеку массы идет весь арсенал консервативно-анархических орудий: и систематическое утверждение невежества, и прямая угроза, и хитрость, и... даже либерализм. А так как к последнему средству наши патентованные анархисты начали с недавнего времени прибегать с особенною охотой (это и немудрено, потому что даже для них уже стало ясно, что толпа все-таки смотрит на либерализм благосклоннее, нежели на простое оглушение), то здесь нелишне будет рассмотреть, в чем заключается сущность этого пресловутого консервативного либерализма, результатом которого, по мнению ловких людей, должно быть общее успокоение.

Консервативный либерализм – это уступка подробностей и мелочей; это прогресс, изготовляемый в виде обрывков, плавающих там и сям на обширной поверхности жизни; это не прямой и голый отказ, но отказ, сопровождаемый изворотом и заключающий в себе спекуляцию на человеческое легкоеверие.

Было время, когда наше общество не имело другого девиза, кроме пресловутого «не твоё дело». Девиз этот прилагался в самых широких размерах, и притом с такою ясностью, которая не допускала даже недоразумений. «Не твоё дело», – говорилось всем и каждому, и все и каждый понимали значение этого девиза и сообразно с ним поручали свои души и тела тому Неизвестному и Непредвидимому, от которого ни оборониться, ни спастись невозможно. Коли хотите, это был своего рода порядок, правда похожий на сатурналию, но все-таки порядок, которому наивно удивлялись даже люди, не чуждые порядков иных. Все, как один! правой – левой! вперед, назад! – картина такого единства действия соблазняла. Сатурналию разгадали уже позднее, когда созрели плоды этого диковинного порядка, когда пришлось их вкушать и когда они оказались гнилыми и отвратительными на вкус. Это была минута откровения. Многие тогда догадались, что порядок, имеющий в своем основании девиз «не твоё дело», хорош только до тех пор, покуда внешние обстоятельства разрешают обществу спокойно гнить и покуда оно само не увидит, что гниение только по наружности спокойно, но в

сущности влечет за собой всякого рода унижения и обиды, которые рано или поздно приходится выносить на своих боках. Но, добравшись до этой истины, догадливые люди, вместо того чтоб серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным, впали в сентиментальность, начали целоваться и обниматься друг с другом и ударились в мелочи и подробности, как будто факт всецело разлагающийся может быть сплочен частными спайками и заклепками.

Это была ошибка со стороны догадливых людей, хотя нельзя не сознаться, что впасть в эту ошибку было весьма нетрудно. Откуда вышли наши догадливые люди? – они вышли непосредственно из того порядка, в основании которого лежало «не твое дело». Но такого рода порядок имеет ту особенность, что он не всего человека ошеломляет, а губит в нем лишь общий смысл жизни, делает его неспособным к обобщениям. Человек перестает быть живым членом общества, но право прозябания, право жизненных отправлений не отнимается от него. У него есть отдельный угол, в котором он даже может временно схорониться от оглушений. Время освящает для него этот угол, делает его мерилom всех желаний, и надежд в будущем. В пределах его он чувствует нечто похожее на самостоятельность, за порогом – не видит ничего, кроме людей, производящих порядок и, разумеется, принимающих соответственные сему меропр<иятия>. Понятно, что для него это единственная жизненная подробность, с ко-

торую он мирится вполне искренно, и что представление о ее незатейливых удобствах он переносит с собой всюду, куда бы ни кинул его случай или житейская нужда. Не широких удобств общественности требует он от жизни, а мелких и отрицательных удобств домашнего очага, вполне характеризующихся выражением: «я никого не трогаю, не трогайте и меня». Находясь в дороге, он думает: хорошо, кабы не попался встречу насадитель порядка, в лице исправника, кабы не подломился мост, кабы в лесу не напали лихие люди, кабы не притеснил станционный смотритель, кабы поздорову воротиться домой. На базаре он думает: хорошо, кабы не попасться на глаза насадителю порядка, в лице квартального, кабы не обсчитал купчина, кабы не засадили в кутузку, кабы поздорову воротиться домой. Идя в суд, он думает: хорошо, кабы рассудили по-божески, кабы не засудили вконец, кабы поздорову воротиться домой. Все эти подробности мелькают в голове человека непрерывно, но только подробности, и ничего больше. Связи, существующей между ними, он обнять не может, зависимости их от иного, высшего порядка – тоже. Он не прочь воротиться домой поздорову, но как устроить это – он даже не пытается формулировать, ибо девиз «не твое дело» столь ясен на этот счет, что даже не допускает никаких попыток в этом смысле.

Представьте же себе теперь этого человека, с головы до ног пропитанного доктриною, заключающеюся в девизе «не твое дело», и в то же время догадывающегося, по отврати-

тельному вкусу ее плодов, что девиз, которым он до сих пор руководствовался, есть девиз фальшивый. Что прежде всего представится его уму в первую минуту, как только он почувствует себя свободным от давившего его кошмара? Очевидно, ему представятся те подробности, с которыми он вырос и на которых было утверждено его воспитание. Он припомнит все, что его стесняло, кололо и удручало, и на всякую отрывочно припоминаемую подробность попытается наложить заплату. И будет таким образом починивать то в одном, то в другом месте, без системы по мере припоминания, покуда не встретится лицом к лицу с всеобщей неудачей. Да и тогда он вряд ли отрезвится, а скорее всего, свалит вину на новость предприятия и на собственное неискусство в деле починок.

Вот тут-то, в этом бесплодном бродяжничестве по полю подробностей, и настагает общество так называемый консервативный либерализм. «Вы жалуетесь, – говорит он, – что вам на каждом шагу говорили «не твое дело», что вы не могли выйти из дому, не опасаясь, чтоб вас не настиг насадитель порядка, не обсчитал купчина, не засудил суд. Хорошо, мы устроим все это для вас таким образом, что вам придется только пожинать плоды. Мы припугнем исправника, заберем в руки купчину и дадим судей, которые изумят мир благородством манер. В одно прекрасное утро вы проснетесь, и все кругом вас будет первый сорт. Но затем живите скромно, помните, что требования ваши удовлетворены, и не явите себя неблагодарными».

Что же такое, однако ж, в сущности, эти подробности, об исправлении которых так радеют наши либеральные консерваторы? Подробности – это такие эпизоды общественной жизни, которые возникают из условий данной минуты, затем изменяются, развиваются или упраздняются тоже согласно с условиями другой данной минуты, и совокупность которых не только немислимо устроить наперед, но даже и предвидеть нельзя. Это не существенное основание жизни, а только одна из внешних ее принадлежностей, которая вырабатывается жизнью и ею же и устраивается. Дайте жизни широкое и разумное основание, подробности организуются сами собою, сообразно с главными основами жизни. Вот естественный ход вещей, и глубоко заблуждаются те, которые к подробностям хотят применить общие основания. Самый лучший исправник все-таки человек, который имеет свое мирозерцание, может не понимать известных явлений и вообще на каждом шагу впадать в ошибки. Но, кроме того, чтобы основать известный строй вещей на одной уверенности в добросовестности того или другого общественного деятеля, нужно предположить в нем такое напряженное состояние нравственных и духовных сил, которое ни на минуту не изменяло бы самому себе. А между тем опыт представляет нам самые убедительные примеры совершенно противоположного. Да оно и в природе вещей. Как бы ни был нестемчив исправник, не может же он ежеминутно ловить неблагонадежных и неблагонамеренных людей. Подобно прочим смертным, он

чувствует потребность отобедать, погулять, выспаться. Кто же во время этих естественных жизненных отправлений будет исправлять его обязанности? Или же на сей раз временно допускается анархия?

Таким образом, когда либералы-консерваторы делают уступки относительно мелочей и проходят молчанием главные основания жизни, они поступают совершенно наоборот естественному ходу вещей. Понятно, что и результат бывает совершенно обратный, так что иное либеральное предприятие, по наружности сулящее бог весть какие последствия, в сущности разрешается совершенно ничем. Прекраснейший судья может, сколько ему угодно, оставаться прекраснейшим судьей, и ежели он очень наивен, то будет не без горестного изумления замечать, как прекраснейшие дела возникают и разрешаются в обществе, не заглядывая в его камеру. Если же он не наивен, то поймет, что прекраснейшим судьей ему даже быть невозможно. Точно такая же участь ожидает и прекраснейшего исправника, если он, в разгаре своих прекрасных действий, вдруг услышит простое и короткое слово: довольно! На первых порах он, быть может, усомнится, но подтверждение не замедлит, а за ним, конечно, не замедлит и тот акт, который так верно характеризуется русскою поговоркою: на все махнуть рукой.

Да; «махнуть на все рукой» – вот единственный исход всевозможных либерально-консервативных затей, и, к сожалению, мы собственным опытом испытываем на себе всю тя-

жесть такого исхода. Нет человека, сознательно относящегося к жизни, который не сказал бы себе это, который не смотрел бы на проходящие перед его глазами факты, как на марево. Исключение составляют или люди, специально занимающиеся уловлением анархии, или же нищие духом, которые, погрязши в подробностях, совершенно утратили способность возвышаться до общих идей. Для первых – это вопрос самозащиты, вопрос ограждения их личных интересов от наплыва действительно либеральных стремлений; для вторых – это просто вопрос умственной их ограниченности, на которую не может действовать даже неуспех их усилий.

Поэтому, когда говорят, что уступка мелочей и подробностей есть не что иное, как спекуляция на человеческое легкомыслие, что это тот же отказ, но сопряженный с изворотом; когда утверждают, что при господстве подобных уступок девиз «не твое дело» нимало не упраздняется; когда, наконец, доказывают, что в изобилии мелочей и подробностей заключается злейшая из всех возможных анархий, ибо человек, охваченный свитой миниатюрных интересов, теряет из вида великие жизненные цели и принимает за действительное благо то, что, в сущности, составляет лишь ничтожнейший атом его, не имеющий силы, благодаря своему уединенному положению; когда говорят, утверждают и доказывают все это, тогда говорят, утверждают и доказывают истину, уяснение которой составляет самую насущную потребность общества, утратившего представление об общих основаниях

жизни.

А эта истина влечет за собой другую истину: указание действительных анархистов, разрушителей и попирателей, в лице либералов-консерваторов (увы! нынче у нас уж нет просто консерваторов!), идущих наперекор естественному ходу жизни, подрывающих ее истинные основания и отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам. Вот единственные разрушители, которых общество должно остерегаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать как на врагов своих, единственные утописты, вращающиеся в пустоте и бессильные когда-либо выбиться из нее. У них одних нет руководящих начал, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным неизвестности и тьмы.

И когда эти праздные и самолюбивые мечтатели одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда зло делается единственным двигателем человеческих действий и ненависть – единственным регулятором общественных отношений.